



I

ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ

Я ВЕРЮ ЖИЗНИ...

* * *

В мой старый дом я жду тебя, подруга,
Я верю жизни, бреду и мечтам.
Все ночи крыса громко грызла угол,
Но ты входила — и смолкало там.

Искрился воздух — ты его пронзила
Дыханьем легким, стуком каблуков,
В ладонях запах мяты приносила,
Кормила крысу с узких ноготков.

Уже я знал, как только умолкало
В моем дому, — шмыгнув из темноты,
Садилась крыса и на дверь взирала —
Через минуту заходила ты!

Но в смутный час любовного причастья
Сбежала крыса. Мне сказал моряк,
Что крысы тонко чувствуют несчастье...
Ты не пришла — был, значит, верным знак.

Я стал другим, и мир иной открылся.
Но каждый раз, заслышав шум шагов,
Я помню, как на дверь смотрела крыса,
И сам гляжу, и все простить готов.

12 декабря 1969 г.

ВЫСОКАЯ ВЕТКА

5 марта 1953 г.

Того дня репродуктор я слышу —
Громогласно явил о простом.
Пацаны, мы залезли повыше
На деревья и слушали ртом.

А внизу каждый чем-то роднился,
Помню бабы беспомощный взгляд.
А военный руками закрылся —
Кто обидел? Медали звенят.

Снег с лица моего вдруг закапал,
А внизу ничего, кроме глаз,
Видно с ветки высокой, кто плакал.
Кто не плакал — тем жутко сейчас.

10 декабря 1969 г.

II

Публикуем интервью, которое поэт дал студентке филологического факультета Калининградского университета Светлане Супруновой, работавшей над теоретическим исследованием его лирики и одновременно занимавшейся у него заочно в Литературном институте. Впервые оно было напечатано 15 декабря 2003 года в газете “Калининградский университет”.

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ МНОГОГРАННА

Беседа с Ю. П. Кузнецовым

— Юрий Поликарпович, скажите, пожалуйста, какие поэты русской классики являются Вашими постоянными спутниками и в чем по преимуществу: в содержании или форме?

— Пожалуй, я назвал бы единственного поэта, к которому меня влечет философская сторона творчества. Безусловно, это Тютчев. Мне очень близко его ощущение вечности, стихийной катастрофичности бытия, выраженной в иносказательной форме. Помните стихотворение “Море и утес”?.. Я такой же преданный славянофил, как и Федор Иванович, правда, основные идеи славянофильской доктрины у меня получают другое освещение, во многом с ним я не согласен. Но это уже другой разговор. А в общем, тяготение к символу роднит нас.

— Вашим стихам свойственна высокая степень предметной пластики и сюжетности. Является ли это следствием эпической характерности мировосприятия или же это особая форма собственного лирического выражения?

— Я считаю, что это идет от моего восприятия жизни. Таким уж я родился и теперь живу в соответствии с заложенным генетическим кодом. Так что мое эпическое мировосприятие — проблема чисто генетическая, а не творческая.

Когда пишу, образ возникает сразу, без всяких творческих потуг. Особо напрягаться не приходится, разве что оттачивать мысль и искать нужную рифму.

– **В названиях Ваших стихов встречаются эпические и лиро-эпические жанровые обозначения: баллады, сказки, сказания. Они претендуют на прямое научное значение или иносказательное?**

– Безусловно, они иносказательны. Я уже говорил о том, что особенностью моего поэтического мира является тяготение к символу, как правило – многозначному, вызывающему разнообразные эмоциональные ассоциации. Значение символа читатель волен угадывать сам, в силу своей интеллектуальной подготовленности и психологического настроения. Но это не значит, что стихотворение можно по-разному понимать: ассоциативные компоненты символа настолько близки между собой, что двоякого толкования не допускают. Грамотный, образованный читатель моментально уловит, о чем данное стихотворение.

– **Как Вы оцениваете соотношение нравственного начала и эстетического эффекта в лирике?**

– Думаю, что в лирике обязан действовать следующий закон: нравственное начало должно быть ведущим и вызывать определенный эстетический эффект. Хорошо сделанное стихотворение, содержащее нравственное начало, никогда не повлечет за собой каких-либо отрицательных эмоций. Сразу хочу оговориться, что иногда, в силу индивидуального авторского сознания, действие этого закона нарушается, и тогда получается несоответствие между его значимыми частями, то есть нравственное начало является самодовлеющим и не влечет за собой умиления над строкой. Например, вряд ли образ говорящего мертвеца, чуть было не свалившегося мужику на голову, в стихотворении “Мужик”, вызовет какие-либо положительные эмоции. У многих мороз пойдет по коже от такой картинки. “Черный юмор”, “страшилки” – назовите это как угодно, тем не менее, я считаю, что этот образ этически оправдан, хотя не задан эстетически. Но ничего не поделаешь, иногда приходится нарушать сложившиеся нормы. По сути, в этом и заключается развитие литературы (и не только литературы), когда что-либо новое поднимает традиционные представления на высшую ступень. Не всегда какой-то образ выглядит “приличным” в данной системе ценностей, но меня это несколько не волнует. Есть материал, есть цель – пиши, твори...

– **Как Вы оцениваете соотношение аналитической рефлексии и эмоционально-образного представления в лирическом творчестве?**

– Не всегда образ может быть понятным и соответствовать действительности. У человека есть чувства, причем у каждого свой диапазон, более или менее широкий. Иногда диапазон выходит за границы реального, попадая в ирреальное пространство, где на поэтическую мысль действуют совершенно иные законы. Эта мысль преобразуется, и возникающий образ существует на уровне подсознания, интуиции. Поэтому мои образы часто мистически окрашены и несут дыхание космоса. Отсюда понятно недоумение критиков, привычных оперировать обычными категориями.

– **Последний вопрос. В чем, на Ваш взгляд, состоит душа современной русской поэзии?**

– Вопрос непростой. Даже как-то страшно на него отвечать, но я попытаюсь. Как у всякого русского человека, душа поэзии противоречива и непредсказуема. Есть мысли, есть чувства, но никто не знает, какой “характер” они приобретут завтра. Существует жалость, но нет гарантии, что на следующий день она не воплотится в озлобленность против законов бытия. Русский характер на протяжении всей истории человечества был лишен гармонии. То же самое можно сказать о поэзии. В ее душе сосуществуют различные полюсы. Она способна смеяться и тут же плакать, причем плакать чаще, чем смеяться. Русская поэзия (я имею в виду настоящую поэзию) осенена каким-то таинственным знаком, поэтому ее душа всегда была чувствительной и ранимой, она постоянно откликалась на житейский уют и дисгармонию. Это испокон веков было ее неотъемлемым свойством. Муза мести и печали всегда посещала ее и не давала покоя. Существуют самые различные по эмоциональной окраске строки – основанные и на классических традициях, и на модернистских веяниях. Можно сказать, что современная поэзия многогранна, так как душа ее воспринимает бытие под различными углами зрения.

III

Письма Юрию Кузнецову

ГЕОРГИЙ СВИРИДОВ

Уважаемый Юрий Поликарпович!

Мне доставило большую радость знакомство с Вами. Я – Ваш давний почитатель, мне очень близко Ваше Слово, оно часто – как бы и моё. То есть в том смысле, что, имея дар, я бы говорил именно так и именно то, что говорите Вы подчас. Такое бывает исключительно редко! Я пользуюсь случаем поздравить Вас с наступившим Новым годом, пожелать Вам всего (что возможно!) хорошего. Мне было бы приятно увидеть Вас у себя дома, как только схлынут заботы, которые теперь лежат на мне.

Сердечный Вам привет!

Г. Свиридов
2 января 1986 г.

Дорогой Юрий Поликарпович!

Письмо Ваше получил.

К большому моему сожалению, не сумею принять участие в Вашем вечере. В этом году я перенёс тяжёлое заболевание, и когда возвращусь к общественной жизни – не знаю. Сейчас я постоянно живу вне Москвы, совсем там пока не бываю. Жизнь веду совсем одинокою, по совету медицины. Хочу Вам передать моё непреходящее восхищение Вашим стихотворчеством. Желаю большого успеха Вашему вечеру.

Г. Свиридов
2 декабря 1986 г., Ново-Дарьино

Дорогой Юрий Поликарпович!

Поздравляю Вас с Новым, Высокознаменательным годом, шлю самые добрые пожелания. Читал в “Лит. обзор.” две статьи о Вас. Сергей Куняев написал “с сердцем”! Часто Вас вспоминаем, читаем стихи.

Я живу трудно, очень уединённо, стараюсь работать. Сердечный, братский привет Вам.

Г. Свиридов

Дорогой и глубокоуважаемый Юрий Поликарпович!

Перед Новым годом получил от Вас новую книгу. Сердечно благодарю за этот драгоценный подарок. Сокровенный смысл Ваших стихов необычайно близок мне, поражает глубиной чувств и совершенно удивительной поэтической фантазией. Это наиболее животрепещущее русское слово наших дней. Счастлив, что Вы живете и творите рядом.

Видел недавно Ваше лицо на газетном снимке. В глазах, где всегда таилась и проступала казацкая мощь, явственно обозначилось Странствие.

Я много болею (глазами) и живу трудно.

Примите сердечный привет и братское рукопожатие.

Г. Свиридов
14 января 1990 г., г. Москва

В книге Георгия Васильевича Свиридова (1915—1998) «Музыка как судьба» (М., Молодая гвардия, 2002) имя Юрия Кузнецова упоминается в числе наиболее значительных, по мнению композитора, современных русских поэтов. «Поэзия Русская: до Рубцова, Передреева, Прасолова (книга Кожинова), Вл. Соколова, Куняева, Кострова, Ю.Кузнецова, Лапина. Некая вялость, прибитость средой всеми этими Ваншенкиными...» Из этой записи ясно, какое значение придавал Свиридов поэтической антологии «Страницы современной лирики» (М., Детская литература, 1980, 1983), составленной Вадимом Кожинным, где представлены стихи вышеперечисленных поэтов (за исключением Вл. Кострова и В. Лапина) и как в свете её оценивал иную, русскоязычную стихотворную продукцию.

ДАВИД САМОЙЛОВ

Здравствуйте, Юра!

Ваш “День поэзии” не так уже плох, как докладывает Друнина. Обидчивость, недостойная поэта. Он скорее даже лучше других, ибо определеннее и идет в русле А. К. Толстого, что само по себе ново. Замечателен Ваш “Поединок”. Так теперь мало кто пишет. Он и определяет весь сборник.

А вообще, уходите от этого, удалитесь и пишите стихи. Вы – сильнейший поэт, воплощающий идеи и подспудные течения времени. Этого достаточно. Читаю многое, но почти все проскальзывает. А Вы существенны.

Будьте здоровы.
Ваш Д. Самойлов
9.02.84

Поэтическому гению Кузнецова Давид Самойлов (1920-1990) отдавал должное с первого прочтения. «Стихи Ю. Кузнецова в «Новом мире». Большое событие. Наконец-то пришёл поэт. Если мерзавцы его не прикупят и сам не станет мерзавцем, через десять лет будет украшением нашей поэзии. Но что-то и тёмное, мрачное» (1975 г.) Чем дальше – тем больше его отношение менялось в худшую сторону – и говорить всерьёз об искренности чувства, декларированного в этом письме, не приходится. «Подённые записи», ведшиеся практически одновременно с этим письмом, говорят о совершенно иных реакциях Самойлова:

«Сотворив из Ю. Кузнецова кумира, эта шатия будет искать ему жертву. Скорей всего это буду я» (1979 г.)

«Злобный выпад Ю. Кузнецова против меня в альм. “Поэзия, Комплексы. Сальеризм» (1981 г.)

«Большую часть времени сидел в баре с Юрием Кузнецовым и Шкляревским. Левитанский смотрел на меня осуждающе.

А мне было интересно – что это за современный гений. Он не кажется умным, но какой-то напор уверенности есть.

Кажется, большего, чем он написал, не напишет.

Шкляревский – человек высоко одарённый. Он может ещё развиваться...» (1983 г.)

В письме идёт речь о «Дне поэзии – 1983», составителем которого был Юрий Кузнецов (это был один из лучших «Дней поэзии» за всю историю его существования) и об издевательской рецензии на альманах Юлии Друниной («Пустотою звеня». «Правда» 31.1.1984).

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ

Дорогой Юрий Поликарпович!

Сердечно поздравляю Вас с Новым годом, – быть может, ещё не опаздывая с этим, – и желаю Вам на будущее успеха и всяческих благ, и первое из благ: чтобы Вас печатали без запинок и торможений, проволочек и дурных намерений и задних мыслей; чтобы Ваши книги издавали охотно, хорошо, с

любовью! Не думаю, чтобы я желал чего-нибудь совсем неисполнимого. Пусть всё это исполнится — пусть это неуклонно исполняется.

Вашу книгу получил и очень Вам благодарен за неё; что у неё была трудная судьба, я знаю, и если бы не знал, мог бы догадаться; Ваша поэзия — это мысль, сливающаяся с чувством и словом в напряжённый, тесный, иной раз тёмный узел; темнота — в смысле давящей неясности (как бывает, когда ноет грудь от переутомления, например), и темнота — в смысле неразрешённости тяжёлых вопросов, проблем, которые заставляют с усилием извлекать слово широкое, как бы пугающее своими не до конца раскрывшимися возможностями — что за ним стоит, что скрывается. Это слово не лежит на поверхности, и оно смело — тем, что прислушивается к себе, не боясь сказать **больше**, чем то, что на первом плане, ясном, вполне обозримом. Благодаря этому Ваше слово приобщено к мифу — и такому, который его сам ведёт, заставляет уступить возникающему образу*, — это отважная и для нашего времени, наших условий редкая продуктивная темнота, темнота, в которой исчезает и восходит к зримому, осязаемому образному смыслу новая, неслышанная истина. Это надо ценить, потому что поэтов просто ясных, сразу понятных, толкующих уже сказанное, уже всеми освоенное — очень много, а Вы — среди немногих. Ясность ведь рождается и должна рождаться из темноты, из ночи — как свет по древним греческим понятиям: он — не отрицание тьмы, противоположное ей, а её, именно её порождение. Хотелось бы знать то, что не вошло в сборник.

Извините за многословие (страшноватое, аляповатое оформление книги, не достойное её, пусть не очень Вас огорчает — не в последний ведь раз выходит книга).

Желаю Вам счастья и новых трудных достижений.

Всегда Ваш Александр Михайлов

30 декабря 1985 г.

Михайлов Александр Алексеевич (1922 – 2003) – известный литературный критик, в то время главный редактор журнала «Литературная учёба». В письме идёт речь о книге стихов Юрии Кузнецова «Ни рано, ни поздно» (М., Молодая гвардия, 1985).

IV

Венок Юрию Кузнецову

ВАЛЕРИЙ ФОКИН

УЧИТЕЛЬ

В начале было Слово...

Я позволю себе,
я позволю —
 Попрошу я, умерив свой пыл:
 “Отпусти мою душу на волю”, —
 Как Учитель у Бога просил.

Превозмог он смиренную долю
Из последних немислимых сил:

* Совсем иное, нежели то, что иногда любят называть у нас “мифом” — размусоливание обыденных предметов на странный лад, с привлечением чужих образов.

“Отпущу свою душу на волю”, —
Сам решил он.

И сам отпустил.

Я замру от нахлынувшей боли
По своей бесприютной душе,
Только что же ей делать на воле,
Если сил не осталось уже?!

Помогают стихи Кузнецова —
До сих пор я учусь у него.
Но спасает лишь Божие Слово,
То, что было Началом Всего.

г. Киров

МИХАИЛ ВИШНЯКОВ

* * *

Памяти Юрия Кузнецова

Глаза твои грозно косили
на Запад, где тайный Восток.
Был слишком знобящ для России,
мерцающим духом высок.
Сказал мне, тревожно сутулясь,
у елей Кремлёвской стены:
— Мы все до сих пор не вернулись
с любимой народом войны.
— С проклятой...
Отрезал: — С любимой!
Руки не подал и ушёл
в туманы свои и глубины,
и шаг был надсадно тяжёл...
...Завоеет сибирская вьюга,
И ты постучишься, как гость:
— Один я. Ни брата, ни друга
и здесь для меня не нашлось.
Пустынны пути мировые.
Века суетятся, спеша.
— А что ж нам мерцает в России? —
то Дух изронила душа.

г. Чита

АЛЛА ЗАЛАТА

Ю. П. Кузнецову

Он — посланник свыше... Не случайно
выпала столь гордая стезя:
сиднем век не просидел на камне —
проторял дорогу в небеса.

В одночасье всем поведал тайну:
жизнь его земная — звёздный час,
и поэту вслед бросали камни
те, кому пригрезился Парнас.

Чистокровной музе во спасенье
сдерживал поток словес пустых,
обессмертив каждое мгновенье
благодатной силой слов живых.

В ореоле звёздного свеченья
так недостижимо велик:
он в слова иного измеренья
перевоплотил душевный крик.

Разомкнув надземное пространство,
он достиг молитвенных вершин:
соплеменник избранного братства —
величавой музы звёздный сын.

г. Тольятти.

ЛЮДМИЛА ХЛЮСТОВА

Памяти Ю. П. Кузнецова

Время — вспять.
Наше солнце — к закату...
И опять
разорён отчий дом.
Над Россией моей тайным знаком
Ворон чёрный поводит крылом.

Нам прорваться сквозь годы и беды
Суждено ли? Достанет ли сил?
Небо — скорбное знамя победы.
Не сочтёшь православных могил.

Свет Россия, ты — сказка живая.
Да тоска по тебе всё сильнее.
Что так рано теряешь, родная,
Самых верных своих сыновей?

Твои мощные реки испили
Первозданную святость воды.
Твои дети, Россия, забыли,
Что любовь — это свет с высоты.

В полусумраке, в полусознание,
Замедляя истории ход,
На распутье стоит со слезами
Православный великий народ.

Время — вспять. Нам неведомы сроки
За Россию решающих битв.
Чьё-то сердце врывается в строки.
Время — мужества, время — молитв.

г. Москва

КОНСТАНТИН РАССАДИН

* * *

Дай, Поликарпыч, злую сигарету —
Вреда немного в никотинном зле:
Не ведомы российскому поэту
Большие сроки жизни на Земле.

Молчит в Москве твой телефонный зуммер —
Письмо отправлю Богу в Интернет.
Вот дураки!!! Сказали, что ты умер.
Да разве может умереть Поэт!

Нескоро нам с тобой вести беседу...
Ты дай мне срок — стихами разживусь, —
Всенепрременно я к тебе приеду
В великую заоблачную Русь.

Табак и водка и... любовь — отравя!
Покурим. Выпьем. Вспомним о заре...
Ты в небесах — на облачке, что справа,
Я на земле — на диком пустыре.

г. Тольятти

V

ОЛЕГ ИГНАТЬЕВ

“Я ДЕРЗАЮ ПРОДОЛЖИТЬ ПУТЬ ДАНТЕ...”

(Из общения с Юрием Кузнецовым)

Когда я приехал в Москву учиться на Высших литературных курсах, или, как тогда говорили, учиться на “волка”, я познакомился с Николаем Шипиловым, который к тому времени уже получил диплом “мэтра”, но продолжал ютиться в общежитии. Николай сказал мне, что учить нас уму-разуму будет Юрий Кузнецов, тот самый, который “один”, а все остальные — “подделка”. При этом он испытующе глянул, стараясь уловить мою реакцию.

— Сам Кузнецов? — обрадовался я, — даже не думал!

Видя мою восторженность, а я всегда был далёк от заглазных оценок, Николай сослался на мнение сокурсников:

— Гений. Никого, кроме себя, не видит.

Я вспомнил кузнецовскую статью о Литературном институте, о нравах “общаги”, о том, как Рубцов заявил о своей гениальности, а Кузнецов подумал, что “два гения на одной кухне — это много”, и лишь развёл руками, дескать, у всех свои слабости.

Вскоре я его увидел.

Он вошёл в аудиторию в коричневом строгом костюме, и меня сразу поразил его рост. Очень был похож на свои фотографии, но, поскольку мне попадались в основном чёрно-белые, бросилась в глаза лёгкая рыжина ресниц, бровей, солнечный отлив в завитках волос... Ну да, конечно, он же сам писал: “Топчусь мальчишкой рыжим и босым”. Детская рыжина давно ушла, волнистые волосы приобрели каштановый глубокий цвет, но в завитках просвечивала медь.

Он оглядел нас всех с огромной, как тогда мне показалось, высоты своего роста, чему-то удивился и сел на далеко отодвинутый им от своего преподавательского стола крепкий канцелярский стул.

— Ну, што, — по-южному смягчил он краткое своё вступление к нашим занятиям, — давайте знакомиться, “пошли” по алфавиту... — Тут он подтянул к себе список “семинара”, пробежал его глазами и насмешливо сказал: — Все вы таланты, следовательно, разгильдяи... — и добавил: — Я сейчас говорю о мужчинах.

Поправив на левой руке часы циферблатом наружу, потеряв их тяжёлый на вид металлический браслет, он скрестил руки на груди.

— На этом семинаре хороший подбор... мыслящая масса...

Меня резануло: масса... “Я один”...

Он улыбнулся — дескать, как я вас? — и сообщил, что его считают женоненавистником в поэзии, в литературе.

— Думаю, что это заблуждение. Я оберегаю их от самолюбования.

Когда женский ропот утих, он продолжил знакомство “по списку” и, узнав, что одна из узбекских поэтесс плохо говорит по-русски, сокрушённо мотнул головой:

— Эх, тут я перебрал, дал маху!

Видимо, его расстроило всерьёз это незнание. Подстрочники ему понравились, а она, вишь ты, пренебрегла желанием освоить язык Пушкина... На его лице так и читалось: зачем тогда ехать в Москву, в Россию?

Он явно огорчён.

— Вы будете здесь портиться... Шучу... Все вы достойны, как авторы, — и неожиданно сказал: — поэт должен писать с детства. Надо раскрываться, раскрываться...

Скептик, ищущий истину. На одном из последующих занятий он подписал мне свою новую книгу “После вечного боя” мелкими полупечатными буквами — каждая отдельно, — слегка наискосок: “Олегу Игнатьеву на добрые мысли о земном и небесном. Ю. Кузнецов. 12.12.89 г.”

Со мной он сразу заговорил о “Чёрном монахе”. Помнил о том, что я врач, что я написал стихи “Возле самого леса — больница...”

Его интересовала тема раздвоения личности, гениальности и сумасшествия.

О, здесь мы с ним наговорились!

Чёрный монах, чёрный человек, чёрный двойник творческой личности... Что может быть загадочней, трагичней и тревожней? Возбуждённый мозг, взвинченная психика, неистовое вдохновение могут рождать галлюцинации и зрительные, и слуховые... Слышать музыку стиха, даже видеть всё стихотворение и знать, о чём оно, вставляя в тёмные провалы места необходимые слова, — случалось многим, этот факт известный... Я сам, бывало, не писал, а лишь спешил-записывал увиденное наяву, но зримый образ некоего двойника, да к тому же ещё нашептывающего или доверительно внушающего нечто, причём человеческим голосом, отличное от жизни в целом, прельстительно-необычное по мысли, убеждающее в том, что вы инакий, избранный — человеческий голос, говорящий и прельщающий этим избранничеством, — это уже не вдохновение, не благодать, а патология, шизофрения. Слуховая, а точнее, голосовая, довлеющая над сознанием своим навязчивым диктатом галлюцинация, это не музыка сфер, а “расстроенные нервы”, как сказал бы любой земский врач, в том числе и Антон Павлович Чехов.

Одним словом, я рассуждал, а Кузнецов больше слушал, почёсывая пальцем висок, но слушал исследовательски, следователски... Уточняя что-то для себя и проясняя, задавая далеко не заурядные вопросы.

Было видно, что он читал серьёзную литературу, но незнание чисто медицинских терминов, а их в психиатрии предостаточно, мешало ему прийти к какому-то определённом выводу.

Узнав Кузнецова поближе, я как-то спросил его о Валерии Горском, с которым познакомился лет двадцать тому назад в Ставрополе, где я тогда учился в медицинском институте и куда Валерий приехал, чтобы поучаствовать в работе поэтического семинара, на котором должны были обсуждать наши стихи.

Семинар был организован местной писательской организацией, и, видимо, для придания ему большего веса пригласили гостей. Кто-то был из Запорожья, кто-то из Москвы, а Горский – из Краснодара.

Он был старше меня, небольшого роста, тёмно-русый, с каким-то потёртым взглядом, хриплым голосом и нездоровой одутловатостью лица... Он сидел рядом со мной, и я изредка поглядывал на него сбоку: кровоподтёк на лбу, левой скуле...

С течением времени образ его размылся, стусеивался, ушёл в глубины памяти, а тут, на ВЛК, мне захотелось разузнать о нём от Кузнецова поподробнее.

– Валерий Горский, – сказал он, – мой друг...

Услышав слово “друг”, я, видимо, так благодарно и одобрительно взглянул на Кузнецова, что он сдвинул брови, помолчал и добавил с внутренним ожесточением:

– Спился.

– Ничего не имел никогда, – вспомнил я строчку из стихотворения Кузнецова, в котором он сравнивает поэта с цветком, и услышал:

– Не оправдал надежд. У него вышла книга в Краснодаре с моим предисловием. Но это так. – Он сделал неопределённый жест рукой и, видимо, вспомнив молодость, улыбнулся...

Я впервые видел такую его улыбку: по-детски светлую, обезоруживающую. И глаза... какие у него хорошие глаза!.. Добрые, смешливые, распахнутые светом.

Не зря в него влюблялись безоглядно.

Как это он писал о своей юности?

“На автобусных остановках я свидания назначал”.

Поражал девиц с первого взгляда.

А когда задумывался, веки становились тяжёлыми, складка между бровей углублялась, глаза становились темнее.

Но взор всегда был чистый, нелукавый.

Со временем я заметил, что на людях он всегда был напряжён и даже как-то беззащитен в этой своей демонстративной отстранённости. Мне кажется, он даже злился от того, что маска холодности, избранничества пристаёт к нему гораздо чаще, чем того хотелось бы, что маска эта на самом деле мешает ему, и тогда скрытая судорога передёргивала его лицо, а окружавшим казалось, что его передёргивает от презрения к ним... Я думаю, что всё-таки она ему мешала, поэтому он так часто мял лицо рукой, сдвигая углы рта пальцами к подбородку, потирал висок, подпирал щёку кулаком так, что лицевая складка прикрывала глаза, словно пытался всеми видимую маску смять, отбросить прочь.

Внутренний огонь не уживался с ледяным покровом.

Вспомнив Горского, атмосферу литературной провинции, Кузнецов сказал мне как старосте курса, что “предыдущий семинар был очень слабым. Я бы три человека оставил, но я его не набирал. А у вас семнадцать человек, и все достойны”. Помолчал и добавил: “Как авторы”.

Слово это было неоднозначное и подразумевало многое.

Вызволяя образы тех дней из тёмных глубин памяти, прихожу к выводу, что самым светлым для меня был вторник – семинарский день. Самый значительный и самый лучший.

Я общаюсь с Поэтом.

Юрий Кузнецов поражает глубиной своих познаний, высотой своих творческих замыслов, безошибочной интуицией, великолепным редакторским чутьём и потрясающей чистотой речи. Правильность ударений, врождённая грамотность, литературный вкус – всё это вызывает моё восхищение. А то, что он предельно строг, так это от любви к тому, чему он посвящает жизнь. Самое главное, что он серьёзен. Совершенно невздорен. Поэты, особенно знаменитые, порой просто несносны в своём актёрстве и саморекламе. А Кузнецов довольно прост, хотя и сдержан в разговоре, не болтун, порою снисходителен, но не обидно. Когда волнуется, немного заикается. Чтоб справиться с собой, излишне плотно, зримо поджимает губы.

Полные, твёрдо очерченные, крепко сомкнутые – они придают ему вид мужественного бойца, нетерпимого к инакомыслию и всяческому разгильдяйству.

Руки в карманах, плечи развёрнуты, мощная грудь степняка.

Если вспомнить блоковские строки: “Да, скифы мы. Да, азиаты мы...”, то Кузнецов полу-скиф: “очи раскосые”, но не жадные. Добрые, русские. При всём его космогонизме, тяге к запредельному.

По-видимому, Поэт знает, что губы у него красивые и время от времени проверяет, на месте ли они.

Очень уж плотно сжимает.

Когда я проделывал то же самое с целью проверить жест, я ощущал лёгкое онемение, покалывание губ после их сильного сжатия.

Чувство лёгкости, освобождения, как после поцелуя.

Чувство жизни после летаргии.

Он как бы уходил в себя и возвращался, выныривал из глубины.

Мне нравились и его сиюминутная замкнутость и неожиданный интерес к реальности. К своему собеседнику.

– Кого вы любите? Ахматову или Цветаеву?

– Ни ту и ни другую.

– Ох, отлично! – Он качается на стуле из стороны в сторону и басовито хкекает. – Мистраль – гигантская поэтесса.

– Согласен.

От увлечения политикой он сразу же предостерёг:

– Политика исходит из злобы, отнимает частицу вечного.

На один из семинаров он пришёл со своим “политизированным другом” Вадимом Кожиновым. Тогда и состоялась наша встреча и моё личное знакомство с Вадимом Валериановичем. А предпосылкой этой встречи был мой разговор с Кузнецовым относительно литературной будущности его “семинаристов”.

Стряхнув пепел с сигареты, он свёл брови к переносью.

– Вы уже не будете иметь того, что имел я. Ни тиражей, ни всенародной известности. Теперь нужны деньги для самоиздания.

– А где их взять? – задался я горьким вопросом и высказал мысль о том, что поэзия – сама жизнь, и если она не нужна больше обществу, регресс истории по Гесиоду нарастает с катастрофической быстротой.

Нет жизни, нет народа, нет и государства.

Третьего не дано.

Новый мировой порядок подразумевает единое мировое правительство.

– Об этом, – сказал Кузнецов, – вам надо бы поговорить с Вадимом Кожиновым.

– А это возможно?

– Вполне.

Вскоре он пришёл с Вадимом Валериановичем на наш семинар.

Мы обрадованно загалдели, приветствуя того своим восторгом и активным “узнаванием”.

Надо сразу сказать, что положение Кожинова в литературе тех лет можно смело характеризовать стихотворными строчками Юрия Кузнецова, которые он адресовал себе, но тем не менее они поразительно подходили для психологического портрета его старшего товарища:

*Их много было, светлых и пустых,
Которые любви моей искали.*

Представив нам Вадима Валериановича, Кузнецов как-то обособился, скрестил руки на груди, откинулся на спинку стула и вперил глаза в потолок.

Я уловил в его настроении оттенок лёгкой ревности, даже некой обиженности ребёнка. Вот, дескать, вам нужны авторитеты, критики, пожалте, слушайте, а я уж как-нибудь в сторонке, с краешку, на уголке...

Одним словом, всё не то и не так.

Хотя сам посвятил стихи Кожинову, в которых отмечал:

*Меня ещё успели вознести
Орлиные круги твоей беседы.*

Кожинов сразу заговорил о трагедийности последних лет, о том, что “мы проигрываем битву за Россию”, о том, что пресс запретов благодатен для поэзии.

– Чем сильнее сжатие, чем большее давление испытывает углерод, тем совершеннее алмаз. Так что цензура во многом играла на руку поэтам.

Я видел, как легко он подхватывает чью-то мысль, чей-то вопрос, и загорался, воспламенялся, импровизировал.

– В поэзии, в искусстве надо искать не новое, но вечное. Чувство целого всегда ведёт к величию. Когда мы говорим: арийское начало, мы имеем в виду арийское служение духовности, гордость аскезы, отчуждение от осязаемого.

Время от времени Кожинов поправляет очки в массивной роговой оправе и ищет подтверждения той или иной мысли у Кузнецова. Тот односложно отвечает, и я понимаю, что он нравится себе такой: сосредоточенный, суровый... “Вернусь на родину – суровый...” И тире слово выделил, определил: суровый...

Таким он в сущности и был, таким он в памяти навеки бы и остался, если бы не его улыбка.

Ни у кого из близких мне поэтов не было такой отрадной, безобманной улыбки, и в глазах его в это время светилась сама душа. В такие мгновения он казался мне по его собственным стихам:

*Счастливым, как пробка,
И вечным, как прах и любовь.*

И смех его, его улыбка были настолько заразительными, что я сам невольно ощущал себя столь же счастливым и столь же вечным. “Сияй в человечестве!” – скажет он позже и выполнит этот завет. Он сиял улыбкой, глазами и словом.

Чувствуется, что и Кожинов искал его улыбку, обращался в основном к нему, нежели к нам.

Когда кто-то из присутствующих на встрече с Кожиновым бросил реплику, что в поэзии, в искусстве критериев нет, он криво усмехнулся и начал живо говорить о том, что “да”, критериев не существует, но есть признак поэзии, пожалуй, самый ясный и неоспоримый – ощущение нерукотворности стиха. “Кажется, – передавал он свои ощущения, – что данные стихи были всегда. Поэзия – отратно первородна. Изначальна”.

– А как же быть с “лица необщим выраженьем”? – опять не унимался некий полемист. – С авторским стилем, с самовыражением? В конце концов, с художническим импульсом: я так хочу?!

Кожинов резко парировал:

– Хотеть – это личное дело, а поэзия – язык богов, и это надо понять, уяснить. Оттого-то у поэзии и выражение лица “необщее”, что стихотворцев сонмы, а истинных поэтов – по пальцам перечесть! – И как бы опережая все возможные вопросы, быстро и взволнованно заговорил: – Поэт это не что иное, как некий абсолютный слух, данный ему единственно для того, чтобы уловить слово, музыку и смысл. “Дух дышит, где хочет”. Это-то и бесит, именно так, ибо гордыня мучает, а гордыня – любимая дочь дьявола от земной женщины, бесы теребят всех самовыраженцев, ревнителей авторских стилей, манер и новаций. Но делание стихов на манер табуреток или венецианских стульев – пустое занятие. “Гордость житейская”, и не больше. Вот что можно сказать о “мастерах стиха”.

Разгорячившись, он вытащил пачку сигарет, словно собрался закурить, но переборол своё желание и посмотрел на Кузнецова: может, ты их вразумишь?

Тот ёрзнул на стуле, посмотрел выше голов.

– Те, кто требуют, чтобы стихи узнавались без подписи, заведомо отрицают возможное их совершенство и существование Божественного глагола, о котором говорил ещё Пушкин. Ревнители эти отрицают то, что “поэты – Божьи дудки”, по определению Есенина, одним словом, они – тут он выделил слово “они” – богоборствуют, ограничивая поэзию, саму жизнь одним лишь самовыражением, одной лишь своей волей, крайним эгоизмом сделанного. А лучшее стихотворение – это услышанное, как слышится музыка, звучащая неведомо откуда. Кто пережил такое состояние, тот знает, он свидетель

совершенства, не творец, а исполнитель Высшей Воли, преемник благодати. Надо иметь смирение, испытывать зависимость от Бога, находиться в постоянной готовности услышать, стяжать Дух... Надо ощутить и осознать свою убогость в том смысле, что у Бога, при нём...

Говорил он ровно, без аффекта, как говорят о чём-то само собой разумеющемся.

— Кто боится аскезы, кто боится мучений, кто, наконец, боится “дурацкого колпака”, напяливаемого обществом, и, что самое страшное, близкими, любимыми людьми на вот таких — убогих, — тот не поэт. Поэзия — дело святое. У Пушкина, если вы помните, лира “святая”. Поэтому поэзия — удел немногих. Избранных. Готовых “на каторге чувств вертеть жернова...” Готовых к одиночеству.

После перерыва заговорили о влиянии имени на судьбу, о мистическом свойстве слов, о символизме. Кожинов тотчас подхватил эту тему, с энциклопедической ясностью и краткостью дал характеристику кресту и пирамиде, кругу, треугольнику и свастике и обратил наше внимание на соломоновы звёзды на башнях Кремля:

— В отличие от свастики, лучи этой звезды заострены в бесконечность, говорят о внутреннем взрыве Вселенной, о том, что она расширяется, возможно, разрушается.

После возникшей паузы, пока мы думали над новыми вопросами, он вернулся к теме слова, к его действенной силе.

— Кем вы мыслите себя, тем и станете. Идите и веруйте! Иного не дано, особенно поэтам. Поверить в себя, в свои силы — это поверить в свою божественную сущность, о чём говорил ещё задолго до Христа китайский мыслитель Конфуций, а поверить в свою божественную сущность — это поверить в то, что ничего невозможного для вас нет, ибо в Евангелии сказано: “По вере вашей воздастся вам”. А в практической житейской повседневности надо научиться слушать, вслушиваться, быть приуготовленным к гармонии, к её восприятию... Надо развивать в себе чувство гармонии, чувство меры, хотя многим это не дано, и неустанно, кропотливо работать со словом, как литературным, так и живым — разговорным — языком... Не избегайте всех богатств родного языка... Без языка стихотворений не бывает. А если что и получается, так это филология... Семантическая интересность, набор слов, калейдоскоп аллюзий и не больше.

— А стиль? Как быть с ним? Все требуют не языка, но стиля.

Кожинов посмотрел на часы, на Кузнецова, словно спрашивая того, а не затягивает ли он занятие, и видя жест, что можно продолжать, заговорил.

— Собственный стиль чаще всего — навязчивый приём, а если не приём, то всё равно навязчивый. Мотив, подход, словесный ряд, архитектурника и прочее. Так легче выделиться, но не всегда запомниться. Читатель со вкусом отмечает гармонию, полноту, целостность и совершенство, а уж потом обращает или не обращает внимания на стиль. Горький предостерегал начинающих: “Бойтесь стилизации”, но в тридцатые и последующие годы оттого и придавали такое значение выработке “стиля”, что взгляд, мировоззрение писателей были настолько зашорены, задавлены идеологией и местечковыми гениями, что о поэзии, о Божественном глаголе уже не думали. А если и думали, то лишь с опаской: как бы глагол не начал жечь сердца людей — ещё чего! — а вдруг, чего доброго, сердца не выдержат накала? Гвозди-то из советских людей делать можно, как говорил Тихонов, но то гвозди... А человек? Может, и не стоит... вдруг сердца так раскалятся, что система рухнет?

Кожинов говорил взахлёб, быстро, страстно, ожидая возражений противоположной стороны, я многое за ним не успеваю записать, выхватываю главное, акценты, обобщаю, загоняю в тезисы, восстанавливаю в общежитии по памяти.

— О поэзии не думали, делали вид, что заботятся. На самом деле на корню уничтожали стихи изначальные и совершенные, отмеченные первородством. Стихи вдохновенные... Вот тогда и началась тотальная лепка советских стилистов, творцов отчаянного самовыражения! Сами выражались, никого уже не слушали — ни классиков, ни Бога, кроме родной партии, её постановлений. Уничтожив Есенина и его окружение, сгноив Клюева, третьестепенные и никакие стихотворцы “одесского призыва” стали полнокровными диктаторами в новой советской литературе. Реформировали русский язык, загнали его в газетно-журнальный барак, втиснули в куцей словарь Ожегова и, доволь-

ные, потёрли руки: получилось! Жить стало проще, петь стали веселей. Живая образность вымарывалась из стихов, рукописи безжалостно “херились”, в том смысле, что крест-накрест перечёркивались редакторским карандашом, авторы вносились в “чёрный список”... Литература должна быть партийной! Писать позволялось по трафарету, по кальке, по выверенным образцам. С оглядкой на авторитеты, коих растила и холила власть. Это не значит, что приветствовались слепые, ничего не видящие вокруг себя люди, вовсе нет, слепцы даже опасны! У них предельно развит слух! Ещё услышат что-нибудь не то!.. Настоящий советский поэт должен быть зрячим, но лучше, если его глаза будут на затылке!

Когда Вадим Валерианович сказал о глазах на затылке, я невольно посмотрел на Кузнецова – это ведь его образ:

*И тогда он увидел народ.
И глаза у народа открылись
От того, что у слова “вперёд”
На затылке глаза очутились.*

Кузнецов сидел в своей обычной позе: скрестив руки, глядя чуть поверх голов. На людей с “глазами на затылке” он никак не среагировал. По-видимому, многое ему было известно. И таким он был спокойно-отрешённым, что мне вспомнилась строка из его раннего стихотворения:

Я мудр, как змий, рассудочен и стар.

Хотя он вовсе не был стариком! Особенно когда смеялся и в глазах душа сияла. Да и о какой старости может идти речь, когда ему всего-навсего сорок восемь лет! Но ощущение есть ощущение, тем более поэта, тем более такого...

– Вот таких, – развивал тему Кожин, – с глазами “на затылке” и возводили в ранг новых классиков и образцов для подражания. И началась вакханалия стилей, манер, подражательств... За эпигонство ругали, но так, обходительно, с какой-то очень даже трепетностью в тоне, с поощрительным подтекстом, словом, поругивали, но печатали, публиковали... Целый сонм подражателей Маяковского, Кирсанова, Сельвинского!.. Кошмар какой-то! Урод на уроде – а туда же – в калашный ряд... Что ни рифмоплёт, то классик или гений... Светоч советской поэзии... Спасибо, оговаривались: советской...

Переводя дыхание, а он нас сразу же предупредил, что чувствует себя неважно после хвори, “а то бы я пришёл с гитарой, попели б русские романсы”, Вадим Валерианович поправил на носу очки, откашлялся и стал “закругляться”.

– Самое сложное для стихотворца – это быть безыскусным в искусстве. Поэт от благодати, от божественного вдохновения об этом даже не задумывается, ибо услышанное свыше изначально совершенно, лишнего не терпит и всегда доказывает, что экспансия манеры – вериги для гармонии.

Расходились мы довольные, нагруженные мыслями и жаждущие новых встреч и новых кожиновских откровений.

– Непременно, – пообещал Вадим Валерианович. – Я чувствую, вам это нужно.

Кузнецов поглядывал на нас с высоты своего роста и галантно пропускал поэтов, которые вечно куда-то спешили.

В один из декабрьских вторников Юрий Кузнецов пришёл в тёплой клетчатой рубашке – они недавно появились в продаже и считались дефицитом, – в джинсовом светло-голубом костюме с множеством крупноросточных швов, одним словом, в самой настоящей фирменной “варёнке”. Откровенно говоря, я даже не предполагал, что он следит за модой, но “пока не требует поэта...”

– Вы в курсе современной поэзии? – сцепив пальцы, Кузнецов подпирал щеку, затем проводит рукой по лицу, как бы слегка массируя его. – То, что вы делаете – это вчерашний день. Арьергард поэзии. Её похоронная команда.

Перед Кузнецовым лежит половинка стандартного листа со списком “семинаристов”. Иногда он касается его, слегка повёртывает так и эдак, снова поднимает глаза на онемевшего от столь суровой оценки его творчества пиита и примирительно бормочет: – Ну, хорошо, хорошо, хорошо, – как будто занят самоуговором, психологическим тренингом: всё хорошо, прекрасная марки...

Над головами стихотворцев нависает тишина.

Приговор вынесен.

Надо сказать, что хотя многие из нас и хорохорились, давили форс и знали себе цену, и плевать хотели на авторитеты, а тем более на характеристики их творчества, тем не менее, обсуждения своих стихов и “приговора” ждали с величайшим трепетом.

Все сознавали, что, как ни относишься к новациям Кузнецова, не брать в расчёт значимости его оценки, по крайней мере, глупо. Что ни говори, а он сдвинул целый пласт русской поэзии в сторону мифотворчества, отказался от внешнего ради сокровенного, от быта перешёл к преданию и притче, к простому и многосмысловому символу, к Божественному Свету мимо “солнца русской поэзии”, мимо Пушкина. При всём сознании гениальности Александра Сергеевича. Иными словами, если ты приходишь в мир ниоткуда, то ты и волен двигаться в никуда. А что найдёшь на этом пути, что оставишь после своего самосожжения в горниле творчества – это уже твой крест и твоя суть. Юрий Кузнецов не побоялся обособиться, стать не таким, как все. Чувство собственной судьбы и своего пути не подвело его. Он отошёл от многих и стал виден всеми.

Размышляя о природе совершенства, о беспредельности – раскрепощённости – свободолюбии творческой воли, приходя к формуле “Скажи своё, и станешь всем чужой”, я, естественно, с благоговением смотрел на подлинно великого творца, каковым считал и считаю Юрия Кузнецова. Быть может, оттого с таким вниманием прислушивался к каждой его фразе, реплике, к каждой мысли, рождавшейся при разговоре.

Я ощущаю символическую цельность его образов.

Стремление к синтезу.

Умение брать быка за рога.

Мне передаётся вечное его смятение перед бездной хаоса и его успокоение, просветление при звуках гармонии, при ощущении благодати, нисходящей на него.

В моём сознании – он весь образ дороги, движения, порыв к бессмертию. “Прости, природа забывает...” А он бежит забвения, он страстно жаждет памяти, и эта жажда у него всё время перехватывает горло. Жажда общения к Богу, к Абсолюту. Иначе ему скучно.

Арийская жажда.

И ещё арийский ветер, усиливающий эту жажду.

Старость? Он думал о ней, проговаривался. Боялся вживания в старость. Чурался.

Голод? Нет, это слишком бытовое, человеческое... О хлебе он почти не говорил. А вот ветер... в его стихах живёт своекорыстной жизнью. И он сам любил в себе и эту жажду, и этот ветер.

Естественно, когда настал черёд и мне услышать его мнение о моём творчестве, я ощутил сухость во рту, навеянную его жаждой.

– Вы согласны, Олег, что вы “западник”?

Вопрос был не из лёгких, тем более что я об этом никогда не думал. В каком смысле “западник”? Не патриот и не славянофил? Почти не говорю о Боге?

– В поэзии, в подаче образа – возможно, – сказал я, – но вот по чувству я, скорее, человек восточный... и рождён на Южном Сахалине, и нянчила меня японка.

– А Пушкин? Какое место вы ему отводите в литературе?

– Центральное, – ответил я. – Он – моя Библия.

Мы сидели друг против друга, и Кузнецов мне показал глазами: говори-те. Я не преминул воспользоваться словом.

– И вообще, считаю, что для каждого поэта, русского прежде всего, он должен быть и Альфой и Омегой. Мерилом гармонии, бессмертным сгустком совершенства, национальной Благой Вестью, если можно так сказать. Одним словом, Пушкин – это Библия поэтов. В нём есть всё.

Кузнецову понравился этот образ, и он несколько раз проверял его “на слух” в последующем разговоре.

Надо сразу отметить, что устное, изустное слово Кузнецов ставил выше печатного.

– Печатное слово – вторично. Первородство – изустно. Книги приводят к беспамятству. Тысячелетиями люди жили, вслушиваясь в мир и запоминая. Отсюда и чувство природы, вечности, и чувство совершенства.

Он говорил, как бы отчёркивая своё творчество и вынося его за скобки, и в этом тоже была определённая смелость, честность по отношению к собственным стихам, ибо многие и многие из них трудны для устной передачи, являют собой смысловой раствор, причём весьма насыщенный. Всё его творчество – это большая дума... долгая работа ума... А дума – это всегда непросто, мысль может озарить, облегчить понимание того или иного события, той или иной проблемы, даже самой жизни, а дума... она пригнетена извечным недовольством человека разумного, сомневающегося в правильности уловленного смысла, желанием помедлить с ответом... Дума – это недоверие к прозрению.

Глядя на Кузнецова задумавшегося, читая его поздние стихи, я всякий раз ловил себя на том, что думу думающий – это былинный богатырь, постоянно погружающийся в землю по мере того, как сила его прибывает. Вот он ушёл в землю по пояс, вот уже – по грудь... Образная иллюстрация Экклезиаста: “От многих знаний многая печаль”. И скорбь. И недоверие к чему-то ясному, мгновенному и лёгкому.

Идущий к Свету, он гадал: а что есть Тьма?

Спасаясь Жизнью, опасался за неё.

Стоя на земле, её не чувствовал.

Обладая поистине астрономическим зрением, он ужасался тому малому, о которое спотыкается всё человечество, и, оставаясь верным творчеству, своей личностной воле, жаждал совершенства, благодати.

Жаждал Абсолюта.

Издавал книги, а прочитывалось: книги – вздор!

Из его реплик при обсуждении тех или иных стихов я отметил его повышенное внимание к страсти, проявленной в творчестве. Искал своё в чужом? Тянулся к тому, чего не хватало? Наверяд ли!

*Дыханий наших встретятся клубы,
И молния ударит между ними.*

Да нет, страсти у него у самого было с лихвой, оттого, видать, и сдержан был сверх меры, а кто-то принимал это за холодность, надменность, отчуждённость.

По всей видимости, за страстью, страстностью он прозревал волю к творчеству, намёк на плодотворное его осуществление.

И это при всём при том, что он не мог не сознавать: за долгом – святость, а за страстью – грех. Возможно, внутренне почувствовал: нет страсти – нет поэзии. Как поэт он был внушаем, но не настолько, чтобы повторять за кем-то затверженные истины.

– Не обходите вниманием сказки, былины, фольклор. Изучайте народное кровное... “Поэтические воззрения славян на природу”.

Закинув ногу на ногу, скрестив руки на груди, он покачивается на стуле из стороны в сторону.

– Какое стихотворение вы любите у Лермонтова?

– “Выхожу один я на дорогу...”

– Но ведь оно заканчивается полным бездействием.

– Мы ищем истину, а находим кончину, – вспоминаю я древнюю мудрость. – Так что Михаил Юрьевич не мог изменить предначертанное всему человечеству, но для себя хотел бы, чтоб “дыша, вздымалась тихо грудь...” Иными словами, он желал – для себя – покоя действенного, осязаемого бессмертия, божественного перевоплощения: дыша, вдыхая, а “вдыхая” – это уже чувствуя... – я подыскиваю нужные слова, и Кузнецов даёт мне время, чтоб закончить мысль, даже поглядывает изредка в окно, чтоб не смущать меня своим пытливым взором. – А поскольку источником поэзии считается чувство, значит, Михаил Юрьевич и после смерти хотел оставаться поэтом, не изменить своей сути, вот что главное. Как жил и творил перед лицом вечности, так и после смерти хотел предстать поэтом, чувствующим началом. На мой взгляд, это поразительная цельность творческой личности, отсюда и благодатное совершенство самого стихотворения. – Видя, что Кузнецов перестал раскачиваться на стуле, и глаза наши встречаются всё чаще, я наскоро выпаливаю, что мы “божьи дудки”, что Есенин в этом гениально прав, и подвожу итог своей “защите” лермонтовского “бездействия”. – Иной гармонии, иного желания и быть не могло, ведь Михаил Юрьевич как никто был на-

делён даром пророчества, даром того Слова, которое было у Бога и которое было Бог.

И таких бесед, таких “притинок”, что ли, узнавания друг друга, за два семинарских года, прожитых на ВЛК, было немало. Жаль, что многое из сказанного им ушло в глубины памяти, забылось, выветрилось бытом, суетой, тем более что времена менялись на глазах. Поступили мы учиться в разгар “перестройки”, а заканчивали учёбу в самый канун развала страны, распада державы. Мы все уже явно ощущали, как почва уходит из-под ног, что будущее темно, и всем уже не до поэзии. Разве что чокнутым, живущим, “аки птицы”.

— Мы люди одного направления, но об этом мы ещё поговорим, — подводит итог очередной дискуссии Кузнецов, и мы выходим в коридор. Он покурить, а я посетовать на то, что он чрезмерно много курит.

Выглядит он крайне утомлённым.

Под глазами — тёмные мешки, жёлтые от никотина пальцы, голос глуховатый, но интонации живые, бодрые.

Дым выдыхает углом рта, выше голов, поскольку сам над всеми возвышается, и по этому благодушному выдыханию дыма вверх, да ещё уголком рта, становится ясно, что ему сегодня хорошо, он чувствует себя уверенно и просто, и не нужно мять лицо рукой, а можно держать её в кармане пиджака, выставив наружу большой палец.

В своих беседах он часто делал упор на формировании мировоззрения, пока не поздно.

— А то, — строжился он, — в земле всё есть, — и разводил руками, — но надо, чтобы оно выросло.

Прочитав моё стихотворение “У могилы Державина”, заметил, что и любимый мой Тютчев “державинской линии”, а ещё есть линия Батюшкова и линия Жуковского, романтическая...

— Но вы не романтик, — говорит он мне, — отпетый реалист.

В его глазах я вижу смех и радуюсь его оценке. Реалист так реалист. С кем не бывает! Творить, значит, показывать себя — свою душу и сердце всем людям, всему миру, и поэтам в том числе. Подумаешь эдак, а выпадет так. Главное, что Кузнецов не тяготится разговора, много смеётся. А когда он смеётся, в нём просыпается озорное, детское, даже лицо розовеет. И глаза сияют, светятся теплом и лаской.

Но, повторяю, он такой, когда нет посторонних.

Очередное наше занятие Кузнецов посвятил языку. Поставил на стол чёрный фибровый кейс, раскрыл его, достал книгу Алексея Прасолова со своим послесловием.

— Ну, первое моё условие поэтического творчества вы знаете. Это язык. — Он щёлкнул замками “дипломата” и приставил к ножке стола. — Родной язык. Я вот к чему. С девятнадцатого века стали регистрировать случаи, когда дети были вскормлены зверями, но в человеческом обществе они уже были дебилами. Язык — замкнутая самоуправляемая система. Без языка человек вырождается как гомо сапиенс. Есть такой учёный Александр Викторович Михайлов, у него есть такая работа о языке, но, к сожалению, она не издана. Я её читал очень давно. Что он писал? Он писал о трёх замкнутых системах слова. — Видя, что многие из нас записывают, Кузнецов говорит ёмко, укорачивая фразы. — Первая система: библейская. Действенное слово пророков. — Тут он откинулся на спинку стула и поднял руку. — Это не моя система. Потом стала действовать риторическая. Со времён Рима и продолжается до конца восемнадцатого века. Большой ассоциативный отзвук. Дон-Кихот. Потом уже Гёте. Третья система — это реализм, который, я полагаю, потерял страшный крах... Внутренняя подробность духа... Достоевский.

— А Гоголь? — считая его писателем первой пророческой системы языка, спросил я у Кузнецова, и он сразу ответил: — Гоголь относится к риторической системе. А вот Лев Толстой — реалист. Внешне — эпический. Слово в реализме имело — он сказал “имело”, как похоронил, — подчинённую роль. — Тут Кузнецов сжал губы, посмотрел в окно и закинул ногу на ногу. — Будучи студентом, я уже ненавидел реализм. Даже пример Маркеса меня не удовлетворяет. Может, я не рождён прозаиком, — слегка улыбнулся он мне, зная, что я нет-нет, да и вставляю прозаизмы в своих стихи, несмотря на тягу к символам. — А вот Алексей Прасолов, — Кузнецов взял в руку и показал книгу, вышедшую после смерти автора, — это совершенно уникальный поэт, не по спо-

способности – по качеству. Своеобразный урод. Из пяти чувств он обладал двумя. Слух (видимо, Кузнецов хотел сказать “звук”) он воспринимал как глухонемой, через вибрацию. Я просто зачитаю здесь один отрывочек...

Он обращается к своему послесловию, но грохот кровельного железа и стук молотков за окном заставляют его прервать чтение. Он с раздражением поглядывает в окно, где рабочие латают крышу литинститутского флигеля и неожиданно произносит: – Почти поголовно мы говорим на воровском жаргоне.

И это его “мы” и жёстко сжатые губы удивительным образом сблизили нас. Он вдруг заговорил о наболевшем, о бандитском обустройстве государства, о переделе страны.

– Появились приклатнённые “поэмы”, увы, не Франсуа Вийона. Но всё это, выражаясь воровским жаргоном, туфта... Ложь. – Он помял лицо рукой, поморщился от грохота железа. – Высоцкий, Вознесенский – сплошной жаргон. У них нет родного языка. Дворовый есть, русского – нет. Вознесенский – это вскормлённый зверьём детёныш, а в русской поэзии он воспринимается как литературный дебил. Никаким литературным словом, не говоря уже о поэтическом, он не обладает. – Меж бровей у Кузнецова залегла глубокая морщина. Он поводит рукой над столом, как бы раскачивая маятник. – Будем говорить свободно. Говорить – беда, а молчать – другая. Был у нас такой период. Сейчас иные времена. Анекдот – свободный носитель языка.

Оставив незримый маятник в покое, он складывает ладонь на ладонь и, облокотившись о стол, зачитывает статью Гусейнова из журнала “Знание – сила” о языке, о том, что с ним сделали. Анекдот – исключительная практика для выявления “своих”. Не зря за анекдот давали восемь лет.

– Я работаю в институте стали и лени, – цитирует Кузнецов статью, и мы смеёмся.

– Ещё частушка, – замечаю я, – работает, как анекдот, только рифмованный.

– Особая тема, – уточняет Кузнецов и говорит о том, что высокой сферой языковой практики является клятва. Молитва.

– А низкой? – спрашивает Игорь Тюленев.

– Проклятия. Ложь. Суесловие.

Кузнецов сдвигает брови, задумчиво смотрит на нас.

– Всё это печально, дорогие... На одном полюсе устрашение, на другом – страх, и всё это называется любовью. Языковая разнузданность. Почти все заголовки “Правды” скрыто сексуальны. Как фигурное катание – метафора этого, – он делает неопределённый жест, и я договариваю: “соития, коитуса...”

– Вот именно, – усмехается он, кивнув мне головой, – а матерная смазка в речи подростков – это скрытый бунт биологического против социального. Социальное враждебно природе, инстинктам. Сквернословие – социальный опиум.

– Толпа должна быть безъязыкой, – развиваю я мысль, и Кузнецов вздыхает: – Да, мал язык, да всем телом владеет. (А я уже думаю о том, что народ сознательно лишают языка, чтоб легче было управлять им.) Без языка поэзия мертва. Путь поэта – крестный путь. Борьба за человека.

Мы увлечены разговором, в аудитории становится шумно. В окно заглядывает солнце, стук молотков прекращается, не слышно грохота кровельной жести.

Кузнецов часто улыбается, сам увлечён беседой.

– Ещё Евгений Замятин писал: “Я боюсь, что настоящей литературы у нас не будет, пока мы не излечимся от нового католицизма. У русской литературы одно будущее – её прошлое”.

– А язык Астафьева? – спрашивает кто-то.

– У Виктора Астафьева комплекс гениальности.

“Фу, – с радостью подумал я, – наконец-то мы коснулись этой темы, выходит, сам Кузнецов считает себя свободным от этого недуга”.

– Астафьеву вдруг показалось, что в языке, а он у него действительно свой, ему позволено всё. А это далеко не так. Словесный, социальный эксперимент отравил многих писателей. Поэзия ещё сопротивляется, а проза... – солнце светит Кузнецову в глаза, и он вынужден переместиться от стола к проходу, в тень. – Из прозы ушла интонация, тон.

Постепенно мы переходим от жаргона к символам, татуировкам, к их значению и расшифровке, пониманию скрытого смысла. Меня это интересует

ещё и потому, что на Севере, в Игарке, я насмотрелся на “синих”, татуированных воров и мужиков, и спешу как можно больше записать за Кузнецовым. Со временем в книжной лавке писателей появится необходимая литература, и я приобрету заинтересовавшие меня издания, но это со временем, а пока...

— Где свобода — там жизнь, где неволя — там страдание, смерть, — говорит Кузнецов и тут же уточняет: что жизнь и смерть — одно явление у древних. Конец и начало — взаимосвязаны. (Я такие мысли держу при себе.) Он сцепливает пальцы, на какую-то минуту умолкает. — Я так мыслю. Это есть в моих стихах. Я хочу путём слова вернуть целостность мира. — Кузнецов оглядывает нас и придвигается к столу. Солнце уже не попадает в глаза, и он облокачивается на стол. — Пойти на запад и восток. — Говорит он взвешенно, спокойно, рассудительно, и я успокаиваюсь: не стоит понимать буквально. — Лицедейство для поэта — снижение. Тогда слово его относительное. Блок в “Поле Куликовом...” Был бы Блок более цельным — дольше бы прожил.

Когда Кузнецов сказал “дольше бы прожил”, мне сразу вспомнилась его строка “Я хотел умереть молодым”. “Значит, — подумалось мне, — всё нормально. Кузнецов настроен жить долго”.

— Поэт не должен играть роль. — Продолжает он мысль, как всегда кратко, но увлечённо. Говорит о значимом, существенном, на мелочах не застревает.

— Игра это подмена. Разрушение нравственного иммунитета.

Невольно задев тему пьянства, которое, по Аристотелю, “добровольное сумасшествие” и которое на Руси “веселие есть”, он на какое-то время смолкает, уходит в себя, а потом с улыбкой говорит: — Ладно. Пьяный проспится, дурак никогда, — и сообщает, что на следующее наше занятие приглашён Эдуард Балашов.

Надо сразу сказать, что в то время индуизм и дзен-буддизм были в большой моде, многие тянулись к инобытию через “восточные ворота”, увлекались йогой, мечтали о нирване и к месту и не к месту цитировали Рериха и иже с ним.

От града-Китежа торили стёжку к Беловодью, Шамбале.

Шли к Будде, минуя Христа.

Одним из пропагандистов этого движения в советской литературе считался Эдуард Балашов, с которым мы и познакомились по инициативе Кузнецова. Сам я к “рерихнутым” относился равнодушно, их аргументы воспринимал с прохладцей, крепко памятуя о том, что “скорее один сумасшедший убедит тысячу здоровых, нежели тысяча здоровых одного больного”.

Словом, я откровенно заскучал.

Единственное, что мне было интересно, так это то, как Балашова — в глаза — характеризовал Кузнецов.

Вот отрывок моей записи:

— Балашов... человек сложной судьбы. Много лет жизни отдал спорту, регби. Он регбист. Но колебания его закончились, и он стал думать стихами, но уже поздно. Был другом Анатолия Передреева, которого мы недавно вспоминали, поклонником... обожал его. С ним, — тут Кузнецов шутиливо отстранился и посмотрел на Балашова так, словно видит в первый раз, — произошла метаморфоза... да... индуизм. Очень сильно увлёкся.

То, с какой интонацией говорил Кузнецов, напомнило мне атмосферу врачебных конференций, на которых разбираются казуистические случаи, или профессорские “обходы” тяжелобольных.

Речь Кузнецова была нарочито отрывочной, с долгими паузами, которые должны были, по-видимому, дать на возможность лучше осознать сказанное и не повторять подобных ошибок.

— У него, — с явным сожалением в голосе смотрел на нашего гостя Кузнецов, — много стихов на русскую историческую тему, но мыслит он категориями нерусскими, неправославными. — Тут он посмотрел на противоположную стену и признался: — Я сам отдал дань индуизму. Но я читал эти вещи как поэт, найти и развить тему, а его, — он с явным неодобрением бросил взгляд на Балашова, — поглотил индуизм целиком.

Балашов сидел с непроницаемым лицом много знающего человека.

Кто-то подал голос в защиту индуизма.

Кузнецов помял лицо.

— Не нужно покидать лоно своей веры. А то отпадёшь от своей веры и не придёшь к другой. — Он навалился локтями на стол, обвёл аудиторию взгля-

дом. – Мало того, что мы все атеисты... – не закончив фразы, он неожиданно сказал: – У него трагическая судьба, хотя стихи его талантливо.

Возникла пауза, послышался невнятный ропот, кто-то помянул Чухонцева, его строку: “И Бог не там, а здесь”.

Кузнецов тотчас отмахнулся.

– Против Чухонцева не надо возражать. Чухонцев очень православный человек, он очень талантлив.

Наверное, в то время Кузнецов надеялся, что Чухонцев прислонится к русскому стану, выступит защитником отеческих святынь, но этому не суждено было случиться. Либеральный раздрай сорвал голос поэту, расстроил его лиру, приглушил довольно звучные и ясные когда-то ноты боли за своих родных и близких, свёл на нет его “предчувствие близкой беды”, которое открывалось ему “в русской равнине”.

Коснувшись темы отеческой веры и веры в Отечество, Кузнецов вновь вернулся к своей характеристике гостя.

– Балашов сам бывший вээлкашник, тогда курсы были ежегодными, но, хотя он и талантливый, в нирвану он не попадёт.

Кузнецов рассмеялся, и мы заулыбались.

Посыпались вопросы, и Балашов стал отвечать на них пространно и весьма красноречиво.

Уже в процессе беседы и чтения Балашовым своих стихов Кузнецов вспомнил о своей молодости, о службе в армии.

– Я был два года на Кубе, солдатом. Вы должны знать... Карибский кризис. Могла начаться третья мировая... Я не мог угадать свои чувства в отрыве от Родины. Что-то улавливал только в музыке, то, что я испытывал. Отсюда любой эмигрант обречён. Георгий Иванов угас, а поэт был намного сильнее Гумилёва.

Я думаю, он упомянул последнего нарочно. Дело в том, что офицерство Гумилёва и его гибель в застенках ЧеКа, его мученичество многими критиками и поэтами стали восприниматься как доказательство его поэтического величия. Некоторые договаривались до того, что ставили его творчество выше всей поэзии Александра Блока. Бывают же такие завихрения! Думают, что глубоко копают, а на самом деле помогают хоронить истину.

Александр Блок – поэт от благодати, а не от “гордости житейской”.

И когда Кузнецов сказал, что Гумилёв так и останется “лишь Гумилёвым”, уступая по таланту очень даже многим, я полностью с ним согласился и решительно стал на его сторону.

В это время приоткрылась дверь, и в аудиторию заглянул Евгений Лебедев.

– Заходи, – позвал его Кузнецов и тотчас представил его нам. – Евгений Лебедев – талантливый поэт и критик.

“Тесен мир, – подумал я, поскольку с Евгением Лебедевым меня познакомил в своё время в цэдээловском буфете Иван Слепнёв, тот самый, у которого старая тельняшка “ляжет на пол, как собака, и порог мой стережёт”!

Когда начался перерыв и все дружно устремились к выходу “курнуть”, я отметил для себя, что Кузнецов ходит расслабленно, почти на полусогнутых ногах, опустив плечи. И при всём при этом никакого “актёрства”, работы на публику.

Слова и фразы как бы ронял, избегал “говорения”, житейской болтовни.

Речь была сжатой, образы ёмкими.

Выйдя вслед за курильщиками в коридор, я услышал голос Балашова:

– Беспредельность – это чувство, а не качество пространства. А время – это мысль: я живу в трёх дня ходьбы от Москвы. Время превращается в пространство.

– Как после пьянки, – смеётся Кузнецов и вскидывает подбородок, выдыхая дым. – Неделя прошла, до нас не дошла. Народ давно подметил.

– Да, мысль притягивает обстоятельства, – продолжает Балашов, – но хуже всего то, что мы не альтруисты, а эгоисты. Мы обособляем себя из мира, нарушаем его целостность. Внутри себя мы не цельны, а вечно раздвоенны на “да” и “нет”. В человеке дух, и мысль, и тело постоянно борются...

– Триада? – спрашиваю я.

– Всего семь тел, – отвечает Балашов. – Матрёшка – символ мира.

– Понятно, – буркнул Кузнецов. – Я вот о чём. Сократ почти не писал, но всё помнил. А Платон писал. И много. Так не может ли книга ослаблять память? Изустное почти не забывается. Передаётся из века в век.

Я уловил, что тема памяти заботит Кузнецова постоянно.
Балашов глянул снизу вверх.
– Мы умираем на Земле, а воскресаем на Солнце.
– Так что, Солнце мыслит? – прикусывая мундштук с сигаретой, спрашивает Кузнецов с явным сарказмом.
– Да, – улыбнулся Балашов. – Мыслит. Всё живое. И звёзды...
– А Луна? – совсем по-детски, со скрытым лукавством глянул Кузнецов.
– Луна мёртвая. Это мать земли. К матери нельзя плохо относиться, но она прошлое. Она умерла.
Балашов говорил без тени сомнения в голосе.
– А отчего мы рождаемся? – не унимался Кузнецов, явно поддразнивая “индуиста”.
– От самих себя.
– Ладно, – выпустив дым, решил сменить тему Кузнецов. – Расскажи о Блаватской. Дети у неё были?
– Нет.
Блаватская и иже с нею меня нисколько не интересовали, ибо не нами сказано, что мир большой и дураков много, и чтобы не казнить себя в будущем за короткую память, я вернулся в аудиторию к своим записям.
– Эгоисты чаще сходят с ума, чем альтруисты.
Диспут продолжался.

(Окончание следует)